



С.К.Росовецкий

ЧЕРТЫ “ТАЙНОГО СКАЗАНИЯ” В ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ ДЕСЯТОЙ ГЛАВЫ “ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА”

Предлагаем взглянуть на и без того загадочную десятую главу “Евгения Онегина” с точки зрения неожиданной, поставив перед собою задачу привлечь внимание к феномену воплощения в ее структуре некоторых особенностей достаточно экзотического жанра мировой словесной культуры.

На первый взгляд, решение поставленной задачи затрудняется уже неопределенностью объектов сопоставления. Ослабить ее несложно. Что касается десятой главы, то под нею здесь и ниже разумеем только тот конкретный текст, что был зашифрован А.С.Пушкиным на листке, оказавшемся впоследствии в архиве Л.Н.Майкова (1). “Тайное сказание” — один из своеобразных “наджанров” фольклора и литературы, жанровая специфика которых проявляется как бы в иной плоскости, на ином уровне обобщения, нежели в привычных компонентах традиционных жанровых систем — фольклорных или определенных стилей и направлений в литературе. К таким “наджанрам” можно отнести книжный эпос в целом — от “Илиады” до арабского “Сират Антар”, среди них находят свое место и повсеместно распространенные памфлет и пасквиль.

Несмотря на поистине всемирную распространенность в Средние века — от Византии (“Тайная история” Прокопия Кесарийского) и до Великой степи (“Секретная история монголов”), — жанр “тайного сказания” до недавнего времени не привлекал внимания исследователей. Теперь, после достаточно подробного изучения его восточнославянской версии, мы можем ограничиться, помимо указания на имеющиеся публикации (2), самой краткой его характеристикой. Итак, “тайное сказание” — это анонимное патриотическое произведение о важнейших в жизни нации событиях, прославляющее деятелей наци-

онально-освободительной или внутривластной борьбы и обличающее злодеяния господствующих в стране иностранцев или “своих” угнетателей; такой текст конденсирует циркулирующую в народе устную информацию и сам пытается на нее воздействовать, распространяется он нетрадиционным для книжной культуры данного народа способом. У восточных славян жанр “тайного сказания” долгое время оставался фольклорным; и только в первой трети XVII в. возникают его полноценные литературные реализации — русская “Новая повесть о преславном Российском царстве” и украинские “Новины о козацкой войне 1630 г.”, сохранившиеся в составе Львовской летописи.

Анализ соответствий десятой главы пушкинского романа в стихах жанровой специфике “тайного сказания” начнем с замечания о том, что десятая глава самим А.С.Пушкиным отнесена к жанровым явлениям маргинальным и даже окказиональным в тогдашнем литературном процессе. И в самом деле, текст этот есть ни что иное, как фрагмент главы романа в стихах, главы, уничтоженной автором и не вошедшей в состав “канонического”, напечатанного при жизни поэта текста “Евгения Онегина”. Следует учитывать также, что и сам жанр романа в стихах был экзотическим и для русской, и для общеевропейской литературы пушкинской поры, остается таким и в наше время.

Близость социально-психологических позиций автора классического “тайного сказания” и А.С.Пушкина как автора десятой главы не вызывает сомнений. Составитель “тайного сказания” не может выступить против своих врагов с открытым забралом. Автор “Новой повести...” сознается: “Грѣхомъ своимъ великимъ и слабостию и славою мира сего прельстился и к нимъ, ко врагомъ, прилепился, тако же, яко и прочая братия наша, для ради суетныя сея славы и тлѣннаго богатства... Явно мнѣ не мощно от нихъ отстати и вамъ про се сказати” (3). Положение А.С.Пушкина при дворе Николая I известно. Неясные сообщения о том, что он будто бы по собственной инициативе ознакомил царя с текстом десятой главы, относятся к уникальным личным отношениям царя и поэта.

Своеобразие общественной позиции, занятой составителем “тайного сказания”, обуславливает его принципиальную анонимность. А.С.Пушкин, как известно, читал десятую главу П.А.Вяземскому и А.И.Тургеневу, при этом, несомненно, представил текст в качестве составной части своего романа и, конечно же, как свое собственное произведение. Однако зашифрованный текст не подписан поэтом, он не содержит никаких указаний на его принадлежность роману. Персонажи “Евгения Онегина” здесь не упоминаются, уничтожена и фор-

мальная примета такой принадлежности: из “онегинских строф” избраны для зашифровки, как об этом в свое время догадался С.М.Бонди, только первые четверостишия. В этом контексте и стих “Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>”, представляющий собой “единственное место в романе, где автор его фигурирует в третьем лице” (4), должен рассматриваться как попытка заранее подготовить в самом тексте крамольного произведения аргумент против авторства А.С.Пушкина, как своего рода автоатетезу.

Защитный для автора характер имело и распространение “тайного сказания”, нетрадиционное и избирательное. Так, “Новая повесть...” представляла собой подметное письмо, предназначенное автором только для патриотов, украинские “Новины...” рассылались гетманом Т.М.Орендаренко “знаемим своїм”. А.С.Пушкин нетрадиционность и избирательность распространения своего “тайного сказания” доводит едва ли не до абсурда. Не предназначая десятую главу для печати, поэт на сей раз не доверяет свой текст и бесцензурной рукописной традиции: уничтожив законченную (?) главу в полном ее объеме, он сохраняет фрагменты в своем архиве, придав им максимально безопасную для себя форму. Однако перед этим знакомит с текстом десятой главы наиболее надежных из своих друзей — 19 декабря 1830 г. — П.А.Вяземского, до 12 августа 1832 г. — А.И.Тургенева (5). Но даже им не доверяет рукопись, только в своем чтении (как сказал бы фольклорист, “с голоса”) знакомит с фрагментами. В результате такой осторожности общественно-прогрессивный, историософский, эстетический потенциал произведения не был своевременно реализован. Перед нами открывается еще одна грань трагической коллизии автора “Ариона” и “Стансов”.

Теперь о различии в социально-психологической основе классического “тайного сказания” и десятой главы, различии настолько существенном, что может оказаться разрушительным для наших сопоставлений. Уже вспоминалось, что “тайное сказание” обычно генетически связано со “взрывом” или “обвалом” устной информационной стихии, всегда сопровождающим кризисы в жизни нации. А.С.Пушкин, действительно, создает “славную хронику” (выражение П.А.Вяземского) эпохи, завершившейся восстанием 14 декабря 1825 г., однако делает это в годы реакции. Поэтому он, работая, как теперь говорят, “в стол”, вынужден в то же время воссоздавать в своем крамольном тексте атмосферу устного вольнодумства, окружавшую поэта и его друзей в молодые годы.

Воспроизводится, во-первых, сенсационность “тайного сказания”.

Текст десятой главы должен был шокировать современника уже первым своим четверостишием — никак не подготовленной, данной ex abrupto сатирической характеристикой Александра I:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Интеллектуально насыщенный, этот портрет Александра I почти неприметно тонирован и народным смехом. Известно, что Д.Г. Байрон в песни XIV “Дон-Жуана” назвал этого царя “плешивым фанфаном”, однако едва ли перед нами еще одна пушкинская реминисценция из его поэзии. Начать с того, что “плешивый щеголь” здесь — в отличие от выражения Байрона — это оксюморон. У щеголя тут отмечен недостаток, существенный именно для щеголя (недаром же и первая иллюстрация к слову “щеголять” у В. Даля: “Она щеголяет волосами, косой...” (6)). Однако “соль” все же в ином. Как Байрону и Пушкину в XIX в., так и нам сегодня человек с плешью безотчетно кажется смешным: тут действует вековая европейская культурная традиция, с которой связаны были и обычаи выбривания тонзуры у католических монахов, а у православных еще в XVII в. — выстрижение “гуменца”. Традиция эта была бы непонятна, скажем, японцам, где и теперь, в современной прозе можно встретить определение мужчины как “красиво облысевшего” (Ясунари Кавабата).

В славянской “смеховой культуре” плешивость и облысение рассматривались, по-видимому, как частичная форма обнажения, а заголение само по себе было смеховым приемом, которым, по сообщениям иностранцев, пользовались на своих представлениях скоморохи. Известен этой традиции и несколько загадочный персонаж по имени Тарас Плешивый, действующий в одном из русских анекдотов XVII в., записанных английским врачом С. Коллинзом (реконструкцию его устного текста см.: (7)). О былой популярности этого персонажа у русских свидетельствуют, в частности, паремии из собрания В. Даля — от нейтральных (“Тарас Плешивый — человек неспесивый”; “Плешивый Тарас, моли Бога о нас!”) и до издевательских: “У Тараса на плещи разыгрались три вши” или “Кабы на Тарасовой голове да капуста росла, так был бы огород, а не плешь” (8). В русле этой же традиции следует рассматривать и имя плешивого “философа” (плешь его выполняет свою функцию в сюжете) — персонажа “Прения о вере скомороха с философом жидовином Тарасом”, одной из русских версий известного средневекового анекдота, литературная история кото-

рого была в свое время прослежена А.Н.Веселовским (9). Не случайно, с другой стороны, и что нескромная повестушка о плешивом старике и трех молодухах, которая восходит к сборнику фацияций Поджо Браччолини, в начале XVIII в. была напечатана как подпись к лубочной картинке “Тарас Плешивый” (10). Дело в том, что слово “плешь” выполняло функцию эротического эвфемизма, и эта традиционная символика усиливала, надо думать, остроту сенсационной характеристики Александра I в десятой главе.

Однако есть здесь и более очевидные связи с традициями народной “смеховой культуры”. Вот фрагмент десятой главы, как полагают, пятый в последовательности изложения:

И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле...

Соотнесенность первого и третьего стихов остается неясной; следовательно, нельзя быть уверенным и в том, что в первом речь идет именно о “народе”, и можно только догадываться, что именно в этом “народе” вызвало у поэта характеристику, изложенную во втором стихе. Зато не может быть сомнения, что в ней (“русский глупый наш народ”) нашла отражение одна из особенностей восточнославянской “смеховой культуры”, а именно та, которую Д.С.Лихачев определил следующим образом: “совершается осмеяние себя или по крайней мере своей среды” (11). В общекультурной перспективе такое “самоосмеяние” чаще всего бывает невеселым, это знаменитый русский “смех сквозь слезы”. В Московской Руси пример такого, горького “самоосмеяния” находим, в частности, в “Сказании Авраамия Палицына”, который, рассказав об издевательствах поляков, заставлявших своих союзников-россиян многократно выкупать у них своих родственниц, добавляет: “Сия же зряще, изменницы, не токмо незнаемии, но и сердоболие друг друга, своей гибели смеяхуся”. У Пушкина горечь этого русского смеха над собой подчеркивается, когда “авось”, этот “Шиболет народный”, появляется в авторской речи, когда поэт отождествляет себя с массой соотечественников (“Авось дороги нам исправят”), но еще сильнее — когда национальное “авось” распространяется и на авторскую мечту о царской милости к декабристам:

Авось по манью <Н.>
Семействам возвратит <С.>.

И все же, несмотря на проскальзывающее у него “мы”, лирический герой выделяет себя из тех, кого называет “русский глупый наш народ”, поскольку вступает с ними в диалог. Несомненно, например,

ирония в изображении членов тайных обществ, будущих декабристов. Ю.М.Лотман обратил внимание на то обстоятельство, что они тут решают судьбу империи “между лафитом и Клико” или “за чашею вина, <...> за рюмкой русской водки” (12). Бесспорно ироническим является характеристика М.С.Лунина:

Друг Марса Вакха и Венеры
Тут Л<унин> дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.

Сцены национального “самоосмеяния” в десятой главе иногда усложнены с помощью такого обязательного для “тайного сказания” приема, как “эзопов язык”. Вот второй в общей последовательности фрагмент, где речь идет, несомненно, об Александре I.

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Б<онапартова> шатра.

Комментаторы объясняют, что Пушкин намекает на унижительные для России и лично для ее императора условия переговоров его с Наполеоном в Тильзите в 1807 г., когда французский полководец, первым приплыв к плоту посреди Немана и пригласив царя в шатер, фактически присвоил себе статус хозяина. Однако эта его победа в области дипломатического этикета отражала реальное соотношение сил, сложившееся к тому времени. Таков историко-политический подтекст метафорической картины, развернутой поэтом, возможно, из устно-бытового речения: “Не орел, а курица ошипанная” (13). В то же время название бесцеремонных поваров, ошипывающих государственный герб России “не нашими”, есть, как представляется, намек на историческую возможность такой ситуации, когда ошипывать орла-курицу примутся “наши повара” — заговорщики-декабристы.

Однако особый интерес этой сцены — в воплощении здесь такой особенности архаического “тайного сказания”, как сакральная дискредитация противника. Изображение двуглавого орла появилось в государственной символике московских великих князей еще в XV в. и приняло на себя определенные функции их родового тотема: вспомним, например, наказания за оскорбление этого герба, фактически соответствующие архаическим табу. Что же касается существования на Руси табу на поедание мяса тотема, то о нем свидетельствует сюжет оригинальной, в указателе А.Аарне не зафиксированной, сказки “Медведь на липовой ноге” (14), в которой нарушители табу жесто-

ко наказаны. Генетически сцена, изображенная тут А.С.Пушкиным, как бы воспроизводит явление ритуальной дискредитации чужого тотема (или, используя удачное выражение О.М.Фрейденберг, “антитотема” (15)), а именно убийство и поедание его иноплеменниками, весьма оскорбительное для племени, которое себя к этому тотему относит.

Как выпад против религии противника можно расценивать и фрагмент о причинах победы в Отечественной войне 1812 г.:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа
Б<арклай>, зима иль р<усский> Б<ог>...

В двух последних стихах поэт называет четыре причины спасения в 1812 г. России от грозившей ей национальной катастрофы, и пока что, в границах четверостишия, все они возможны и даже, — пока что, на первый взгляд, — равноценны. Однако, присмотревшись, замечаем, что уже тут они названы в градации постепенного снижения их вероятности и научно-исторической обоснованности.

“Остервенение народа” — гениальное конспективное опережение известной концепции народного характера войны 1812 г., изложенной впоследствии Л.Н.Толстым в “Войне и мире” (с десятой главой “Евгения Онегина” писатель, как и его современники, знаком не был). “Б<арклай>” — это воплощение мнения самого Пушкина-историка: он считал обоснованной тактику Барклая де Толли, которая сберегла боеспособность русской армии, и посвятил его драматической судьбе стихотворение “Полководец”. “Зима” — это унижительное для России объяснение поражения Наполеона, популярное у французских историков. И наконец, на последнем месте — “р<усский> Б<ог>”. С одной стороны, это официальная формула, которая в литературе пушкинской эпохи означала не больше и не меньше, как особое благоволение Господа к Российской империи и ее правителям (16). В конце перечня, на нижней ступени градации, — казалось бы, все понятно. С другой стороны, в следующем фрагменте читаем:

Но Бог помог — стал ропот ниже
И скоро силою вещей
Мы очутились в П<арихе>
А р<усский> ц<арь> главой ц<арей>.

Выходит, Бог все-таки помог, хоть заключительный этап войны и детерминирован “силою вещей”. Не стоит переоценивать степень серьезности фразеологического “Бог помог”, однако важно, что Пуш-

кин, находившийся тогда где-то на полдороге от “чистого афеизма” периода южной ссылки к более консервативной религиозно-философской позиции 30-х гг., учитывает, хоть и не без иронии, вероисповедную, православную окрашенность народного “остервенения”.

Что же касается объектов пушкинской иронии, то не все они здесь привлекли внимание исследователей. Так, Ю.М.Лотман в последней строчке фрагмента видит «перефразировку титула Агамемнона <...> “царь царей”, который широко применялся в публицистике 1813–1815 гг. к Александру I (ср. “наш Агамемнон” в стихотворении П[ушкина] “Была пора: наш праздник молодой...”» (17). Однако, как полагаем, не менее вероятно здесь реминисценция библейского “титула” Бога — “Царь царствующих” (I Тим., 6.15). Ироническое обыгрывание этой реминисценции (точнее, аллюзии), оттененное материалистическим “силою вещей”, направлено здесь против обожествления монарха — явления, среди современников поэта распространенного весьма широко. Известно, например, что к Николаю I (у которого, между прочим, “Велик Бог русский” “было одним из любимых выражений” (18)) обращались со своими мистическими проектами, в нем видели исполнителя своих планов построения “царства Божьего на земле” русские народные вольнодумцы Ф.И.Подшивалов (19) и Л.Ф.Казанцев. Последний заявлял даже, что Николаю I предназначено исполнить миссию царя — “Бога Слова” и не для России только, но и для всех народов мира (20).

Сакральные корни и у такой неременной особенности “тайного сказания”, как неназывание имен действующих лиц: табу на произнесение вслух имен своих предводителей и врагов-завоевателей призвано было, как можно догадаться, защитить первых от inferнальной силы чужих богов, а от вторых обезопаситься, исключив возможность мести со стороны их сверхъестественных покровителей. В десятой главе соответствующий прием проведен выборочно: не названы по имени Александр I, Павел I, князя И.М.Долгорукий и А.К.Ипсиланти, а также “коллективный персонаж” — гвардейский Семеновский полк.

Любопытно, однако, что этот же прием А.С. Пушкин применяет и в “Медном всаднике”, где И.В.Немировский обнаружил “запрет на непосредственное название Петра по имени”, весьма односторонне, на наш взгляд, пояснив сей “феномен” влиянием Библии (21). С одной стороны, действительно, Петр I не назван по имени и в старообрядческом сочинении XIX в., где первый русский император интерпретируется как антихрист: “Как он ехал..., что он будет Богу и свя-

тым Его противник...” и т.д. (22). Действительно, в Российской империи во время наполеоновских войн французского полководца не называли по имени не только русские дипломаты, как это показал Л.Н.Толстой в “Войне и мире”, но и поэты 10-х гг. (среди них А.С.Пушкин в оде “Вольность”) — и именно потому, что бывало полусерьезное восприятие его как антихриста. Тем не менее, Петр I в “Медном всаднике” — персонаж, как известно, не однозначно отрицательный, а скорее амбивалентный. Поэтому и неназывание его по имени в поэме связано, как представляется, не столько с библейской, сколько с национальной традицией, восходящей к тем же пластам древней языческой культуры, что и жанр “тайного сказания”.

В какой степени доказательны приведенные здесь наблюдения над соответствиями внутренней жанровой оболочки десятой главы “Евгения Онегина” и архаического жанра бунтарей и патриотов, — это решать читателю. Полагаем, что в любом случае удалось расширить представления об устной, фольклорной основе пушкинского текста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цитируем с некоторыми исправлениями по изд.: Пушкин А.С. Пол. собр. соч. в 10-ти т. — Т. 5. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — С. 209–213.
2. Росовецький С.К. Жанр бунтарський, патріотичний: Східнослов'янська “потаємна новина” на прикладі поем “Сон” (“У всякого своя доля...”) та “Великий льох” // “Слово і час”. — 1993. — № 1. — С. 41–47; Його ж. Спадкоємні зв'язки національних словесних культур. — К.: Віпол, 1997. — С. 140–190.
3. Новая повесть о преславном Российском царстве / Подгот. текста, пер. и коммент. Н.Ф.Дробленковой // Памятники литературы Древней Руси. — Вып. 9. — Конец XVI — начало XVII веков. — М.: Худ. литература, 1987. — С. 54.
4. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина “Евгений Онегин”: Комментарий. — Л.: Просвещение, 1980. — С. 414.
5. Там же. — С. 392–393.
6. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — Т. 4. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. — С. 652.
7. Росовецький С.К. Устна проза XVI–XVII вв. об Иване Грозном-правителе // “Рус. фольклор”. — Т. 20. — 1981. — С. 77.
8. Пословицы русского народа / Сборник В.Даля. — М.: ГИХЛ, 1957. — С. 356, 647, 731, 851.

9. Веселовский А. Опыты по истории развития христианской легенды. II. Берта, Анастасия и Пятница (Опыт мифологического анализа. VI. Freiheit — Элевферий). — “Журнал Министерства народного просвещения”. — № 5. — 1877. — С. 76–98.

10. Державина О.А. Фантомы. Переводная новелла в русской литературе XVII века. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 48, 83.

11. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В. Смех в Древней Руси. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. — С. 7.

12. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина... — С. 411.

13. Услышанное. Ср. в записи былины о Василии Буслаеве: Онежские былины (Подбор былин и научн. ред. текстов Ю.М.Соколова. Подгот. текстов к печати, прим. и словарь В.И.Чичерова). — М.: ГИХЛ, 1948. — С. 170.

14. Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. — Л.: Изд-ние РГО, 1929. — № 161.

15. Фрейденберг О.М. Миф и театр. — М.: ГИТИС, 1988. — С. 80.

16. Рейсер С.А. “Русский бог” // Известия АН СССР. Отделение лит-ры и языка. — Т. 20. — Вып. 1. — 1961. — С. 64–69.

17. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина... — С. 402.

18. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). — М.: Изд-во МГУ, 1982. — С. 121.

19. Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России: XIX век. — М.: Наука, 1978. — С. 87–88, 94–95.

20. Мамсик Т.О. “Доклад” царю ссыльнопоселенца Лариона Казанцева (из истории общественной мысли социальных низов России 40-х гг. XIX в.) // Рукописная традиция XVI–XIX вв. на Востоке России. Новосибирск: Наука, 1983. — С. 136–137.

21. Немировский И.В. Библиейская тема в “Медном всаднике” // “Рус. литература”. — № 3. — 1990. — С. 3.

22. Гурьянова Н.С. Крестьянский антимионархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. — Новосибирск: Наука, 1988. — С. 123.

**Министерство просвещения Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Киевский международный университет гражданской авиации**

МЫСЛЬ, СЛОВО И ВРЕМЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

ВЫПУСК 2

Межвузовский сборник научных трудов

**Сборник посвящен 90-летию
проф. В.А.Капустина**

**Киев
Аграрна наука
2000**